*Дмитрий С. Бочаров*

**Тайная жизнь Черубины**

*Героиня (Елизавета Ивановна Дмитриева), слегка прихрамывая, выходит к публике. В её руках папка с письмами, обрывками из альманахов и поэтических сборников начала двадцатого века. Неторопливо устроившись за столом и бегло просмотрев разложенные бумаги, она выбирает нужный листок. Читает:*

«В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Стало почти страшно».

Будем знакомы. Это – я.

И, одновременно – не я. Миф… выдумка… иллюзия.

Лишь раз один, как папоротник, я

Цвету огнём весенней, пьяной ночью…

Приди за мной к лесному средоточью,

В заклятый круг, приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.

О, уступи моей любовной порче,

Я, как миндаль, смертельна и горька,

Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.

Не нужно снисходительно усмехаться. Из-за этой, созданной мною, мистификации многие знаменитости реально сходили с ума! Влюблялись, стрелялись…

Но о них позже.

…Началось всё значительно раньше – когда я была ещё просто Лилей, Лизой Дмитриевой.

Мы познакомились с Гумилевым в Париже. Я там тогда как раз училась в Сорбонне. Познакомились… и почти не обратили внимания друг на друга. Естественно: мне, в ту пору, старофранцузские поэты казались куда более значимыми, нежели молодой пылкий ровесник из России… отчаянно и безуспешно штурмовавший неприступное сердце Анечки Горенко… которой, через пару лет, предстоял роман с Модильяни… прямо во время медового месяца с Гумилёвым! Вот какая любопытная любовная цепочка у них получилась. И каким могло быть МОЁ место в этой цепочке? Мне тогда показалось, что – НИКАКИМ! К тому же, меня ждал жених в Петербурге…

Впрочем… Николай Степанович, в один из вечеров, купил мне большой букет пушистых белых гвоздик. Мы ходили вокруг Люксембургского сада, он говорил о Пресвятой Деве. И читал стихи… *(читает из Гумилёва)*

Друг друга они не узнали

И мимо спокойно прошли,

Но звёзды в лазури рыдали,

И где-то напевы звучали

О бледном обмане земли.

У него было бледное, манерное лицо… глаза гуся… шепелявый говор… в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера – она меня больше всего поразила.

Вот и всё. Больше я его не видела. В общем… внимания друг на друга мы почти не обратили.

Но запомнили.

«Кто ты, Дева?» – Зверь и птица.

«Как зовут тебя?» – Узнай.

‎Ходит ночью Ледяница,

‎С нею – белый горностай.

«Ты куда идёшь?» – В туманы.

«Ты откуда?» – Я с земли.

‎И метелей караваны

‎Вьюги к югу понесли.

«Ты зачем пришла?» – Хотела.

«Что несёшь с собой?» – Любовь.

‎Гибко, радостно и смело

‎Поднялись метели вновь.

«Где страна твоя?» – На юге.

«Кто велел прийти?» – Сама.

‎И свистят, как змеи, вьюги,

‎В ноги стелется зима.

*(зябко кутается)* Холодно… неужели это я написала? Вроде бы неплохо… Может… я всё-таки поэт? Или… всё ужасно?!..

Как меня измучили эти вечные сомнения! О чём я? Ах, да – вернувшись из Сорбонны, я встретилась со Смертью.

…Моя сестра уходила тяжело. Её ребёнок умер в ней, не родившись. И, словно бы мстя за свою неудавшуюся жизнь, начал забирать жизнь матери. Тоня не знала, что умирает. Когда на теле начали появляться чёрные пятна, думала, что это синяки. Она была ещё жива, когда начало разлагаться лицо. Муж сперва кричал, а потом успокоился и повеселел. Я поняла, что он убьёт себя. Мама была несправедлива. Она кричала, говорила, что это он убил Тоню. Он радостно кивал и соглашался: «да, убил». Мы пили вдвоём и смеялись. Было очень весело. У него был пистолет в кармане. Потом Тоня умерла в час ночи. А он лежал поперёк комнаты, загородив собой дверь, волосы совсем намокли от крови. Нужно было переступить через него, чтобы выйти. Было очень весело. Потом пришёл пристав и строго спросил, было ли у него разрешение на ношение оружия? Нам стало совсем смешно.

Всё летают чёрные птицы

И днём, и поутру,

А по ночам мне снится,

Что я скоро умру.

Даже прислали недавно –

Сны под пятницу – верные сны, –

Гонца из блаженной страны –

Темноглазого лёгкого фавна.

Он подошёл к постели

И улыбнулся: «Ну что ж,

У нас зацвели асфодели,

А ты всё ещё здесь живёшь?

Когда ж соберёшься в гости

Надолго к нам?..»

И флейту свою из кости

К моим приложил губам.

Губы мои побледнели

С этого самого дня.

Только бы там асфодели

Не отцвели без меня!

*(задумчиво)* Мне тяжело нести свою душу. А в детстве, лет четырнадцати-пятнадцати, я мечтала стать святой и радовалась тому, что больна тёмным, неведомым недугом и близка к смерти…. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я семи лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола.

ТОТ мир для меня – бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни однажды превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу… мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня – мне самой, хоть на одно мгновенье. Всегда любила заглядывать в чёрную бездну амальгамы – словно бы маску надеваешь… открывая новый, неведомой мир в себе, становясь дерзкой, неуправляемой!

Легко быть смелой, не отвечая за безрассудство совершаемых поступков.

…И как обманчива оказалась вера в собственную безнаказанность…

Ты в зеркало смотри,

смотри, не отрываясь,

там не твои черты,

там в зеркале живая,

другая ты.

Молчи, не говори…

Смотри, смотри, частицы зла и страха,

сверкающая ложь

твой образ создали из праха,

и ты живёшь.

Если бы я могла прожить жизнь снова, я бы прожила её иначе… *(возвращаясь к рассказу)* Вскоре я встретила Макса Волошина! Тогда ещё – Макса Александровича. Он был сильно старше и казался совершенным небожителем. Встреча была мимолётной, но… между нами завязалась переписка. Он читал мои письма. И даже отвечал на них! *(достаёт бумагу, пишет)*

*«Уже давно от Вас нет письма, я совсем не боюсь и знаю, что оно придёт. Но мне скучно без Вас, милый Макс Александрович!*

*Дни странно сплетаются, образуют какой-то круг, отдаляют прошлые, шумные дни.
          Когда на мой стол ложатся тёмно-зелёные, Ваши, конверты, мне нужно порвать какую-то паутину, чтобы вглядеться в Ваши буквы. И в то же время я много думаю о Вас, чувствую Вас. И сейчас мне хочется писать Вам что-то страшно важное и красивое, но слова ещё не подчинены мне. Но не грустно от этого: знаю – поймёте в просветах…*

*(задумчиво)* Ваш золотисто-медный локон

Ласкает чёрные меха.

Вы – образ древнего греха

В шелку дымящихся волокон.

Ваш рот не скроет Вашу страсть

Под едкой горечью сарказма,

И сердце алчущего спазма

Сильней, чем Вашей воли власть.*(возобновляет написание письма)*

*…Я це́лую неделю лежала, одна; было страшно жарко, и из города пришли злые вести – у меня хлынула кровь горлом, и я лежала, нельзя было даже двигать пальцами, можно было только думать. Теперь не так: я много занимаюсь и гуляю, читаю всё, что не даёт мне думать. В моём дне много ритма. Здесь страшно и безнадёжно. Но во мне самой, наряду с тоской, есть Радость, я могу слушать жизнь, и мне не так трудно.
          У меня есть книги, сирень, ко мне приходят Ваши письма.
          Дмитриева»*

…Да, забыла рассказать. В то время, я окончила Императорский педагогический институт. С отличием, естественно. И устроилась преподавать историю в Петровскую женскую гимназию. Неожиданно для самой себя, преподавала с энтузиазмом! Правда… случались и конфузы. На вопрос попечителя округа «Кто ваш любимый царь?» мои воспитанницы единогласно ответили: «Гришка Отрепьев!» Но преподавание – это… так. Главное происходило в «Башне»!

...И сон один припомнился мне вдруг:

Я бабочкой летала над цветами;

Я помню ясно: был зелёный луг,

И чашечки цветов горели, словно пламя.

Смотрю теперь на мир открытыми глазами,

Но может быть, сама я стала сном

Для бабочки, летящей над цветком?

…Башня. Так называли квартиру Вячеслава Иванова в доме на Таврической. Каждую среду весь артистический Петербург собирался там для всенощного бдения. Спорили о религии, читали стихи, обсуждали искусство, волхвовали… Боже, кого там только не случалось: Бердяев, Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Ахматова… не считая наезжающих из Москвы Брюсова, Белого, Цветаевой…

И, конечно же, Гумилёв.

Кто-то мне сказал: твой милый

Будет в огненном плаще...

Камень, сжатый в чьей праще,

Загремел с безумной силой?

Чьё блестящее забрало

Промелькнуло там, средь чащ?

В небе вьётся красный плащ...

Я лица не увидала.

Весной я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств. Там меня познакомили с Николаем Степановичем. Вот уж глупость – мы и без того вспомнили друг друга! Какой это был значительный вечер… мы много говорили об Африке, почти в полусловах понимая друг друга: обо львах и крокодилах… Помню, я тогда сказала очень серьёзно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Николай Степанович отвёл в сторону Волошина и спросил: «Она всегда так говорит?» «Да, всегда», – ответил тот. Эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Николая Степановича. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это – ВСТРЕЧА, и не нам ей противиться. То была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кро́ясь, я смотрю в глаза людей, я нашёл себе подругу из породы лебедей», – писал Гумилёв на альбоме, подаренном мне. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», а он меня, как зовут дома, «Лиля» – «имя похоже на серебристый колокольчик», – как говорил он. Много раз просил меня выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; я всё ещё была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Николая Степановича. Он был для меня цветение весны, «мальчик», мы были ровесники, но он всегда казался мне младше.

В быстро сдёрнутых перчатках

Сохранился оттиск рук,

Чёрный креп в негибких складках

Очертил на плитах круг.

В тихой мгле исповедален

Робкий шёпот, чья-то речь.

Строгий профиль мой печален

От лучей дрожащих свеч.

Ад теряет обаянье,

Жизнь становится тиха, –

Но как сладостно сознанье

Первородного греха…

…Вы спрашиваете, а как же мой жених?

От детства я сохранила облик «Рыцаря Печального Образа» – самого прекрасного рыцаря для меня – Дон Кихота. Он один во всей толпе прекрасен, потому что Он не боится преувеличений, и Он один видит красоту. С детства он мой любимый герой, и я бы хотела написать «Венок»: «Мои герои» – венцом их был бы Дон Кихот.

И ещё – мой любимый образ, я давно его ношу, но не смею о нём писать – Прекрасная Дама – Дульцинея Тобосская…

Мой жених. Всеволод Васильев… Воля. Он… ждал. Его очередь тогда ещё не пришла. Я тоже ждала. Знака Судьбы. Что ж, каждому чувству – своё время. Я писала стихи, пыталась издать их. Безрезультатно. Обиднее всего случилось в журнале «Аполлон». Редактор Сергей Константинович Маковский принесённую рукопись даже читать не стал – ему, видите ли, не понравилась моя внешность… *(замолкает)* …я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное…Мне хочется крикнуть… *(задумчиво)* Волошин… Париж… стихи… жених… *(радостно возвращаясь в действительность)* Вспомнила!!! Воля – дал мне волю! А вот Гумми, наоборот – совершенно потерял голову. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чём не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. В нём была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. Это было немного утомительно, и я решила уехать в Коктебель.

Откуда я могла знать, чем всё закончится?.. *(достаёт письмо, читает. По окончании, запечатывает… отправляя адресату)*

*Пятница 22 мая.*

*Дорогой Макс, уже взяты билеты и вот как всё будет: двадцать пятого мая в понедельник мы с Гумилёвым едем. В Москве мы останемся до двадцать седьмого вечера, а потом уже едем дальше, по моим расчетам мы приедем в субботу в семь часов утра в Феодосию, потому что едем в третьем классе.
          Это ничего, Макс, что я больна, у Вас всё станет хорошо. Гумилёв напросился, я не звала его, но так как мне нездоровится, то пусть. Уже больше писем не будет, а будет Коктебель.
          Я Вас очень хочу видеть и очень люблю.*

Всё путешествие туда помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Ненадолго подзадержались в Москве – Гумилёв представил меня Брюсову, коего боготворил, испрашивая советы, раболепно благодаря за критические разборы.

*(читает отрывки из писем Гумилёва)*

*«…Только вчера я получил Ваше большое и милое письмо, где Вы разбираете мои стихотворения. Тысячу раз благодарю Вас за него: благодаря ему мои горизонты начинают проясняться, и я начинаю понимать, что мне надо делать, чтобы стать поэтом*

*…При таком Вашем внимании ко мне я начинаю верить, что из меня может выйти поэт, которого Вы не постыдитесь назвать своим учеником*

*…Ещё раз прошу Вас: не признавайте меня совершеннолетним и не отказывайтесь помогать мне советами. Всякое Ваше письмо с указаниями относительно моего творчества для меня целое событие. Учитель мой Вы, и мне не надо другого»*

Брюсов принял нас доброжелательно. Посоветовал мне читать графа Бутурлина. Гумми тотчас же купил на книжном развале томик указанного автора и надписал: «Лиле, по приказанию Брюсова. Н.Гумилёв»

 …Я никогда не любила и не буду любить Брюсова!

Смешно. Но это стало причиной наших первых ссор и размолвок. Приближаясь к Коктебелю, мы постепенно отдалялись друг от друга.

Схоронили сказку у прибрежья моря

В чистом, золотистом тающем песке…

Схоронили сказку у прибрежья моря

Вдалеке….

И могилу сказки скоро смоют волны

Поцелуем нежным, тихим, как во сне…

И могилу сказки скоро смоют волны

В глубине…

Больно, больно плакать над могилой сказки

Потому что сердце умирает в ней…

Больно, больно плакать над могилой сказки

Не своей…

Каждого прибывающего, Макс ощущал, как личного друга – двадцать одна комната его дома была предоставлена к услугам гостей! Поселили нас с Гумми раздельно. «Кельи» самые скромные: кровать, стол с греческой амфорой, окошко, ковёр на стене. И всюду – книги… книги…

Во мраке тлел камин; огнём цвели

Тиснёных кож и чернь и позолота;

Умолкшие слова в тиши росли,

И ждал развёрнутый том Дон Кихота.

Душа, убитая тоской отрав,

Во власти рук его была, как скрипка,

И увидала я, глаза подняв,

Что на его губах зажглась улыбка.

Кроме нас, приехала чета Толстых – Алексей с Софьей Дымшиц. Побережье, простирающееся перед домом, было пустынным, растительность – скудной, земля – раскалённой. Встречаясь с Волошиным – целовались…

Здесь, в Коктебеле, началось то, в чём больше всего виновата я перед Судьбой. То, что девочке казалось чудом – совершилось. Узнав, что Макс любит меня, любит уже давно – к нему я рванулась вся, от него не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдёшь к Гумилёву – я буду тебя презирать». Выбор уже был сделан… но Николай Степанович всё же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне всё казалось: хочу обоих, зачем выбор? Я попросила Гумми уехать, не сказав ему ничего. Он отнёсся к моей просьбе мужественно. И со своеобразной иронией – в продолжение недели занимался ловлей тарантулов, его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки, он устраивал бои тарантулов, к нему было страшно подойти… Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи, записал столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После чего выпустил пауков и уехал.

*Как странно, как сладко входить в ваши грёзы,
Заветные ваши шептать имена,
И вдруг догадаться, какие наркозы
Когда-то рождала для вас глубина!*

…это из «Капитанов», которые Гумми посвятил мне. Вместе писали, вместе каждую строчку обдумывали. Позже он посвящение снял. Не простил мой отказ? Или, может быть… не желал дразнить молодую жену? Ахматова болезненно не переносила меня. Она и в Коктебель к Волошину ни разу не съездила…

Зачем я оставляла Гумми надежду?! Во мне было какое-то необъяснимое упрямство – желание мучить.

Разорвать ненавистной неволи

Эту крепкую, цепкую нить, –

Оскорбить, до конца оскорбить,

Так, чтоб губы белели от боли,

Так, чтоб каменным стало лицо.

Чтобы крепче любовных объятий

Твою душу сжимало кольцо

Наконец обретённых проклятий.

Пусть бежит по плечам твоим дрожь

От их острого, горького жала…

Вот и я так от муки дрожала,

Только ты не поймёшь.

Гумми был юн. Считая себя уродом, тем более старался прослыть Дон Жуаном, бравировал, преувеличивал. Позёрство, идея, будто поэт – лучше всех других мужчин для сердца женщин… идея романтически-привлекательная, но опасная… Была ещё одна черта, которую я очень не любила в нём – его неблагожелательное отношение к чужому творчеству, он всегда бранил, над всеми смеялся. А мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он ещё не был таким. Он не мог понять меня. Может быть, потом… позже? *(резко взвиваясь)* НЕ БЫЛО никакого «потом»!!! Зато было – «сейчас». И Макс… рядом.

Это – его. О нас:

В неверный час тебя я встретил,
И избежать тебя не мог –
Нас рок одним клеймом отметил,
Одной погибели обрёк.
И, не противясь древней силе,
Что нас к одной тоске вела,
Покорно обнажив тела,
Обряд любви мы сотворили

Казалось, никаких препятствий для счастья не было. И быть не могло. Но… мне почему-то стало сниться, будто я в дамском ателье выбираю себе… саван. И так – из ночи-в ночь… из ночи-в ночь… Я боялась закрыть глаза – выбегала на открытую веранду, ложилась на спину и, глядя на звёзды, шептала… шептала…

В кольце зловещего Сатурна

С моей судьбой сплелась любовь…

Какой уронит жребий урна?

Какой стрелой зажжётся кровь?

Как-то раз, об меня в темноте споткнулся Алихан Толстой, после чего пришлось убегать к морю. Порой, на меня находил ужас – я боялась свиста ветра, раскатов волн, теней от свечи… и, глядя на Макса, говорила плачущим голосом: «А почему я знаю, может быть, ты вовсе не ты, а только прикидываешься?» Потом, овладевая собой, шла купаться в большую волну.

Макс терпеливо сносил все перепады моего настроения… и загадочно улыбался. Казалось, он что-то придумал. Вскоре я узнала – что именно…

Он предложил обмануть чванливого Маковского! А с ним заодно – и всех остальных. Я стану таинственной незнакомкой-поэтессой-иностранкой-аристократкой-красавицей! Меня саму никто никогда не узнает. Стихи, для начала – те, что написаны в Коктебеле. Потом досочиню новые. Идея – Макса, воплощение – моё. Ну берегись поэтический Петербург!

Замкнули дверь в мою обитель

навек утерянным ключом,

и чёрный Ангел, мой хранитель,

стоит с пылающим мечом.

Но блеск венца и пурпур трона

не увидать моей тоске,

и на девической руке –

ненужный перстень Соломона.

Не осветит мой тёмный мрак

великой гордости рубины…

Я приняла наш древний знак

святое имя Черубины.

За основу псевдонима взяли имя чертёнка, найденного на берегу. Выточенный волнами из корня виноградной лозы, он имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица. Долго рылись в чертовских святцах и наконец остановились на имени «Габриах». То был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чёрта. Изменив на французский манер окончание имени, добавили к нему частичку «де». В начале поставили букву Ч (чёрт). Потом решили все-таки её расшифровать: найти женское имя, начинающееся с этой буквы. Долго искали подходящее, пока однажды я не вспомнила, что у Брета Гарта была героиня по имени Черубина, жившая на корабле. Для полноты образа, придумали аристократический герб.

Сочинили письмо, записали его на бумаге с траурным обрезом, во французской манере, надушили, запечатали чёрной сургучной печатью с девизом «Vale Victis!» («Горе побеждённым!»), переложили страницы стихов пряно пахнущими коктебельскими травами (маслина, тамариск, чабрец), отправили редактору «Аполлона»… и устремились вослед письму – в Петербург!

Червлёный щит в моём гербе,

И знака нет на светлом поле.

Но вверен он моей судьбе,

Последней – в роде дерзких волей…

И – путь безумья всех надежд,

Неотвратимый путь гордыни;

В нём – пламя огненных одежд

И скорбь отвергнутой пустыни…

Эффект от письма был феерическим. Когда Макс зашёл в роскошную спальню, где редактор, заболевший ангиной, принимал посетителей, его взору явилась следующая картина: перед Маковским сидел вспотевший Алексей Толстой, внимающий строчкам, хорошо знакомым ему ещё по Коктебелю – тем самым, рождённым мною ночью, под звёздами… Макс шепнул Алихану молчать и скрыться. «Вот видите, Максимилиан Александрович, – заявил восхищённый Маковский, – Я всегда Вам говорил, что Вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи! Такие сотрудники для «Аполлона» необходимы».

Наживка была проглочена! Маковский был в абсолютном восторге: и от тонкого французского стиля, и от оформления письма, и от его аромата… а ещё – от прилагавшихся стихов.

«Когда выпадет снег», – ты сказал и коснулся тревожно

моих губ, заглушив поцелуем слова.

Значит, счастье – не сон. Оно – здесь! Оно будет возможно,

когда выпадет снег.

Когда выпадет снег! А пока пусть во взоре томящем

затаится, замолкнет ненужный порыв!

Мой любимый! Всё будет жемчужно блестящим,

когда выпадет снег.

Когда выпадет снег и как будто опустятся ниже

голубые края голубых облаков, –

и я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе,

когда выпадет снег.

Ответ прекрасной незнакомке не заставил себя ждать: он был написан тоже по-французски с очень лестным отзывом о стихах и просьбой прислать всё, что есть, в редакцию!

На другой день я позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку, и он, вместо того чтобы кончать разговор, сказал: «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу Вам всё, что узнал по Вашему?» И он рассказал, что отец Черубины – француз из Южной Франции, мать – русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и так далее. Мне оставалось только изумляться, откуда он всё это мог узнать, и таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Черубины, которых впоследствии и придерживались.

Моё сердце – словно чаша

Горького вина,

Оттого, что встреча наша

Не полна.

Я на всех путях сбирала

Для тебя цветы,

Но цветы мои так мало

Видишь ты.

И венок, венок мой бедный

Ты уж сам порви!

Посмотри, какой он бледный

Без любви.

Надломилось, полно кровью

Сердце, как стекло.

Всё оно одной любовью

Истекло.

Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине букет белых роз и орхидей. Мы с Максом решили это пресечь, так как такие траты серьёзно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи и письмо.

Цветы живут в людских сердцах;

Читаю тайно в их страницах

О ненамеченных границах,

О нерасцветших лепестках.

Люблю в наивных медуницах

Немую скорбь умерших фей,

И лик бесстыдных орхидей

Я ненавижу в светских лицах.

*Дорогой Сергей Константинович! (Переписка приняла уже довольно интимный характер.) Когда я получила Ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что Вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, Вы совсем не умеете обращаться с нечётными числами и не знаете языка цветов.*

«Но, право же, я совсем не помню, сколько там было цветов, и не понимаю, в чём моя вина!» – восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано.

Началось восхитительное сумасшествие! Мы сделали нашу героиню страстно-верующей католичкой, каждое воскресенье посещающей костёл, болезненно нуждающейся в исповеди у отца Бенедикта.

В быстро сдёрнутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Чёрный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.

В тихой мгле исповедален
Робкий шёпот, чья-то речь;
Строгий профиль мой печален
От лучей дрожащих свеч.

Я смотрю в игру мерцаний
По чекану тёмных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксёндз.

Временами Черубина уезжала в Париж, где якобы хотела постричься в монахини… затем – возвращалась. Однажды утром, её нашли без сознания, в бреду, лежащей в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением лёгких. Кризис намеренно совпал с заседаниями Поэтической Академии в Обществе ревнителей русского стиха, на котором присутствовала… я. Среди торжественной тишины, во время доклада Вячеслава Иванова, Маковского позвали к телефону. Анненский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом: «Она будет жить!» Всё это происходило в двух шагах от меня.

С моею царственной мечтой

Одна брожу по всей вселенной,

С моим презреньем к жизни тленной,

С моею горькой красотой.

Царицей призрачного трона

Меня поставила судьба…

Венчает гордый выгиб лба

Червонных кос моих корона.

Но спят в угаснувших веках

Всё те, кто были бы любимы,

Как я, печалию томимы,

Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,

Не разомкну заклятый круг.

К чему так нежны кисти рук,

Так тонко имя Черубины?

…Все – поэты Именем Бога, а – я? Я – нет. Я – рассыпающая жемчуга. К сожалению, феи не положили в мою колыбель ни практичность, ни хладнокровную рассудительность, ни обычную житейскую хитрость. Зато подарили много боли. Слишком много боли – даже для поэтессы.

Я родилась в бедной дворянской семье: мать – акушерка, отец – учитель, умерший от костного туберкулеза. Болезнь передалась по наследству и приковала меня к постели на долгие годы. Когда встала, оказалось, что ноги разучились ходить, я часто падала и осталась на всю жизнь хромоножкой. Брат страдал эпилепсией, нюхал эфир и заставлял нюхать меня. Кроме того, он возбуждался какими-то странными фантазиями. Например, утверждал, что надо периодически приносить жертвы всесожжения и начинал сжигать всё, что только можно было сжечь. Однажды в печку бросили живую собаку, которую спасли, услышав страшный визг, родители. В девять лет, заболев дифтерией, я ослепла, но через десять месяцев зрение восстановилось. Когда исполнилось десять, брат взял с меня расписку, что в шестнадцать я выйду замуж и рожу две дюжины детей, которых отдам ему: он будет издеваться над ними и убивать. В тринадцать меня изнасиловал друг матери, которого та любила, и поэтому обвиняла в случившемся – меня.

…Страдала сама и приносила страдания тем, кого любила. Если бы я только могла знать… Но даже приходящий мне в видениях Человек – ничего не сказал… Это – не фантазия! Я вижу лицо моего Человека… Он блондин. У него длинная борода, темнее волос. Нос горбатый. Большие тёмные глаза с такими кругами…

Весь лед души обстал вокруг,

Как отражённая ограда,

И там совпал Полярный круг

С кругами Ада.

Там брата ненавидит брат...

В немом молчаньи стынут души,

А тех, кто обращён назад,

Змеёй воспоминанье душит.

*(возвращаясь к рассказу)* …Ещё был выдуман кузен, к которому Маковский страшно ревновал. «Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук» – чуть не плакал он. Редакцией «Аполлона» была установлена слежка, выяснившая, что я – внучка графини Нирод, уехавшей за границу. Маковский дал мне отчество и присвоил графский титул. Он искал и находил меня в каждой красавице, в театре и на улице… с нетерпением ждал звонков… не говоря уже о том, что стихи графини Черубины Георгиевны печатались в номерах журнала на самом первом месте. Маковский не на шутку влюбился. «Если бы у меня было сорок тысяч дохода, я тут же предложил бы ей руку и сердце!» – клялся он. А я… я в это время жила на одиннадцать с половиной полтинников в месяц, полагавшихся мне как простой школьной учительнице.

…В общем, в существование Черубины поверили все: и Маковский, и члены редакции журнала, и большинство поэтов, начиная с Анненского и кончая Цветаевой с Ахматовой. Вячеслав Иванов восторгался её искушённостью в «мистическом эросе». Гумми… бедный самоуверенный Гумми нетерпеливо предчувствовал день, когда покорит бронзовокудрую колдунью… Анненский, правда, что-то заподозрил, но… искренне сочувствовал страсти Маковского.

Где б нашей встречи ни было начало,

Её конец – не здесь.

Ты от души моей берёшь так мало,

Горишь ещё не весь.

И я с тобой всё тише, всё безмолвней…

Ужель идём к истокам той же тьмы?

О, если мы не будем ярче молний,

То, что с тобою мы?

А если мы два пламени, две чаши, –

С какой тоской глядит на нас Творец…

Где б ни было начало встречи нашей,

Не здесь – её конец.

Так прошло три месяца. Невинный розыгрыш приобрёл настолько реальные черты, что временами начинало казаться: вот-вот встречу живую Черубину, и та потребует ответа от меня – за всё! Подобная перспектива пугала. Точнее сказать, я была в ужасе – никогда не любила призраков. К тому же, Толстой предупреждал: «Бросьте, это добром не кончится!» Тем временем, кто-то, помимо нас с Максом, стал присылать Маковскому письма от лица Черубины…

Да ещё и Гумми неотступно преследовал! Умолял выйти за него замуж… не замечая, что, по возвращении из Коктебеля, я стала совсем закрытая для него. Я мучила, смеялась над ним, а он терпел… Но я собиралась выходить замуж за Макса. Тот меня уже и со своей первой женой, Маргаритой Сабашниковой, познакомил – она заявила, что с первой минуты ощутила, будто всегда меня знала, пожелала нам жизни и благословила обоих.

…Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них, верно, любила одного, другая другого. Нервы мои были на исходе. История Черубины стремительно приближалась к развязке.

Требовалось срочно выпутываться из всего этого…

В слепые ночи новолунья,
Глухой тревогою полна,
Заворожённая колдунья,
Стою у тёмного окна.

В тёмно-зелёных зеркалах
Обледенелых ветхих окон
Не мой, а чей-то бледный локон
Чуть отражён, и смутный страх

Мне сердце алой нитью вяжет.
Что, если дальняя гроза
В стекле мне близкий лик покажет
И отразит её глаза?

Всё случилось в редакции «Аполлона». Обсуждали популярных поэтов – в том числе, мою Черубину. Я позволила себе критические замечания в её адрес, вызвав всеобщее недоумение… почти всеобщее – двое не приняли участия в споре: Макс и Гумми. Они о чём-то напряжённо беседовали. Это был последний раз, когда они общались без ненависти. Заметив меня, Николай Степанович прервал разговор и стремительно приблизился: «Я решительно прошу Вас – выходите за меня замуж. Больше предлагать не буду!» Я сказала: «Нет!»

*(с отчаяньем)* От жгучей капли атропина

Как звёзды чёрные – зрачки.

Одним движением руки

Бесценный дар любви единой

Мной был отвергнут навсегда...

Слепые годы мчатся мимо,

И прячу я под маской грима

Десятилетия стыда.

Я покрываю щёки пудрой,

На бледный рот кладу кармин...

О, если б жизни злой, немудрой,

Мне возвратить тот миг один!

…Он побледнел: «Ну, тогда Вы узнаете меня».

Разговаривать было не о чем. Я решила уехать. Проводить вызвался Гюнтер – хороший переводчик и плохой поэт. Ехали в экипаже, молча. Это было невыносимо! Я ощущала себя сказочной дудочкой из тростника, хранящей в себе страшную тайну королевы. Сердце моё билось учащённо, дыхание стало взволнованным. «Сказать вам?» – спросила я. Он молчал. Я схватила его за руку: «Обещаете, что никому не скажете? Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете? Я должна вам рассказать… Вы единственный, кому я это говорю!» …И дальше, как прыжок в холодную воду: «Я – Черубина де Габриак!» Безразлично-любезная улыбка застыла на его лице. Словно бы, услышала его мысли: «Что она сказала? Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжёт, чтобы придать себе значительности!» «Вы не верите? А если докажу?» Гюнтер холодно улыбнулся. Чувствуя – совершаю непоправимое… не могла остановиться: «Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию и говорит с Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас… я опишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени?» «Лучше скажите, что два года назад, тогда я был в Мюнхене». «И, если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я – Черубина де Габриак?» «Мне придется вам поверить». И с пониманием того, что – всё… падаю в пропасть: «Вы обещали молчать; да покарает вас Бог, если вы меня выдадите!»

…А дальше – скандал разоблачения. Всеобщий шок. И моё последнее появление в редакции «Аполлона» – то самое, описанное Маковским: *(читает)*

*«В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Стало почти страшно».*

Да… ничего нет страшнее обиженного влюблённого.

   Милый рыцарь! Дамы Чёрной

Вы несли цветы учтиво,

власти призрака покорный,

   Вы склонились молчаливо.

   Храбрый рыцарь! Вы дерзнули

приподнять вуаль мой шпагой…

Гордый мой венец согнули

   перед дерзкою отвагой.

   Бедный рыцарь! Нет отгадки,

ухожу незримой в дали…

Удержали Вы в перчатке

   только край моей вуали.

Иногда я очень, очень внутренно зябну, потому что мне не с кем внутренно подружиться… и это – невыносимо. Пытаюсь закрыться от внешнего мира, но сквозь шторы ресниц пробивается (мучительно пробивается!)… свет. И ещё эти надоедливые зеркала вокруг… не позволяют забыть: я – отражение самой себя, я – отражение… Черубины.

Черубина… Не марево ли она, не болотный ли огонь?

…Гумми, узнав о розыгрыше, повёл себя недостойно, не по-мужски! Стал распространять обо мне всякие гадости. Мне передали. Я, естественно, потребовала объяснений. Он пришёл… мог бы не приходить… Войдя в прихожую, не снимая цилиндра, холодно, словно мало знакомой, кивнул, презрительно прищурился и бросил в лицо: «Ты была моей любовницей, на таких не женятся». Лучше бы дал пощёчину! Впрочем… он имел право обидеться.

Ты сказал, что наша любовь – вереск,

мой любимый цветок, –

но крепко заперты двери,

тёмен Восток.

И, значит, нет чуда

единой любви…

Каждое сердце – Иуда,

каждое сердце – в крови…

Пощёчину получил Гумми! От Макса! И даже – прилюдно! Но давайте по порядку.

Для начала, Макс испросил разрешения… у моего жениха – выступить в мою защиту. Это было так старомодно, так по-рыцарски! Воля не возражал.

А затем…

Затем случилась встреча в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста».

В мастерской было много народу, и, в том числе, Гумилёв. Макс решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства – так, как сам же Гумилёв учил его в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно. Шаляпин внизу, на сцене, пел «Заклинание цветов». Макс, подойдя к Гумилёву, говорившему с Толстым, дал пощёчину. И сам, в первый момент, ужасно опешил… Опомнившись, услышал голос Анненского: «Достоевский прав, звук пощёчины – действительно мокрый». Гумилёв отшатнулся… произнёс: «Ты мне за это ответишь!»

И дальше… кошмар!

Дуэль на Чёрной речке. Одним из секундантов Макса был Толстой… Лучше его никто не расскажет. *(берёт тетрадь воспоминаний Толстого, читает)*

*«Между секундантами шли отчаянные переговоры. Грант (здесь Алихан использует один из псевдонимов Гумилёва) предъявил требования – стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи – не было иного выхода, кроме смерти.*

*С большим трудом удалось уговорить стреляться на пятнадцати шагах.*

*… Противники стояли поодаль, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Грант, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил 15 шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гранту я понёс пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным и чёрным силуэтом, различимый в мгле рассвета. На нём был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь,* – *взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядел на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки.*

*Передав второй пистолет Волошину, я, по правилам, в последний раз предложил мириться. Но Грант перебил меня, сказав глухо и зло: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: «Раз, два… (Кузмин, не в силах долее стоять, сел на снег и заслонился хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов.) …Три!»* – *крикнул я. У Гранта блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Грант крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял!» Волошин проговорил в волнении: «У меня была осечка». – «Пускай он стреляет во второй раз, - крикнул опять Грант, - я требую этого!» Волошин поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Грант продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела», – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Грант поднял шубу, перекинул её через руку и пошёл к автомобилям»*

Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моём имени.

Больше я его никогда не видела.

Утром меркнет говор бальный…

Я – одна… Поёт сверчок…

На ноге моей хрустальный

Башмачок.

Путь, завещанный мне с детства,

Жить одним минувшим сном.

Славы жалкое наследство…

За окном

Чуждых теней миллионы,

Серых зданий длинный ряд,

И лохмотья Сандрильоны –

Мой наряд.

Вот и всё. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Николай Степанович отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; – я так и не стала поэтом – передо мной всегда стояло лицо Гумилёва и мешало мне.

…Не смогла остаться и с Максом. Вскоре мы расстались.

*Да, Макс, да, ты был моим истинным отцом, а не тот человек, который умер от туберкулёза и от которого я этот туберкулез переняла… Ты дал мне имя… Ты, как Пигмалион, ведомый рукою Зевса, превратил меня, некрасивую, болезненную, хромую – в красавицу испанку – Черубину де Габриак. Ты, большой и светлый, поднял со своего пути полураздавленный цветок и показал всем чистоту его линий…*

Увы, моя любовь и тебе принесла муку.

…А мне?

До самой смерти Гумилёва я не могла читать его стихов, а если брала книгу – плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.

Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он ещё любил, но моя жизнь была смята им – он увёл от меня и стихи и любовь…

И вот с тех пор я жила не живой – шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое моё прикосновение было ядом.

Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё: а я не смогла остаться ни с кем.

И это было платой за боль, причинённую Николаю Степановичу: у меня навсегда были отняты и любовь, и стихи.

Остались лишь призраки их…

Да, целовала и знала

Губ твоих сладких след,

Губы губам отдавала,

Греха тут нет.

От поцелуев губы

Только алей и нежней.

Зачем же были так грубы

Слова обо мне?

Погас уж четыре года

Огонь твоих серых глаз.

Слаще вина и мёда

Был нашей встречи час.

Помнишь, сквозь снег над порталом

Готической розы цветок?

Как я тебя обижала, –

Как ты поверить мог?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Контактные данные:*

*boch-tdnl@yandex.ru*

*8-903-73-73-578 (Дмитрий)*